

**«Полуденная Сибирь»
в судьбе и творчестве
А. А. Шишкова**

РЯГУЗОВА Людмила Николаевна
Доктор филологических наук,
профессор кафедры истории русской литературы,
теории литературы и критики
Кубанского государственного университета,
г. Краснодар, Россия.
Электронная почта: margo79@mail.ru.

**«Meridional Siberia»
in A. A. Shishkov's Fate
and Works**

Lyudmila N. RYAGUZOVA
Dr. Sci. (General linguistics, sociolinguistics,
psycholinguistics), Prof.,
Department of the History of Russian Literature, Literary
Theory and Criticism,
Kuban State University, Krasnodar, Russia
E-mail: r-margo79@mail.ru

Аннотация

В статье рассмотрены жанровая трансформация, образная философия «кавказской» проблематики в творчестве А. А. Шишкова (1799–1832) и критическая рецепция наследия автора в контексте эпохи.

Ключевые слова: российская государственность, историко-литературный контекст, жанр, орнаментальный стиль, тип кавказца, кавказские мотивы, роман «Кетевана, или Грузия в 1812 году».

Abstract

The paper discusses the transformation of genre and figurative philosophy of «Caucasian» problems in A. A. Shishkov's works (1799–1832). The critical reception of his heritage in the context of the era is examined as well.

Keywords: Russian statehood, historical and literary context, genre, the ornamental style, the type of Caucasian, Caucasian motifs, the novel «Ketevana or Georgia in 1812».

Вольнодумный А. А. Шишков в 1818 г. был отправлен служить в Грузию своим знаменитым дядей адмиралом А. С. Шишковым подальше от соблазнов «света». Жизненный опыт значительно пополнил стихотворные «Опыты» юного поэта, которому Пушкин посвятил известные строки «Шалун, увенчанный Эратой и Венерой». Кавказ — традиционное место ссылки — стал творческой мастерской и приютом для «гонимого гневною судьбою» странника.

Показателен в этом отношении фрагмент Шишкова «Перечень писем из Грузии» (1824), основанный на автобиографическом материале, где традиционный мотив разлуки усилен темой вынужденного изгнания («путешествия в Полуденную Сибирь на быстрых фельдъегерских лошадях без малейшего желания путешествовать»). Путевые заметки содержат, помимо лирических излияний, бытовые натуралистические зарисовки (герой путешествует

в длинном, высоком ящике на двух скрипучих колесах, подходящем для возки дров), а также отдельные познавательные сведения историко-этнографического характера, например, этюд о быте гребенских казаков, напоминающий стиль ранних кавказских рассказов Л. Н. Толстого. Легкий переход от стихов к прозе в «Перечне» демонстрирует виртуозное владение разными стилистическими манерами.

Образ Кавказа-темницы, гор-оград, естественных цепей сопровождается у Шишкова в поэмах и особенно в романе мотивом военного братства: «Мне казалось в молодости и теперь та же мысль приходит в голову, что <..> это добровольное избрание в жилище себе обширной темницы, где вместо тёмного каменного свода глаза воина упираются в неподвижное небо; где брошена под него не солома, а жесткая бурка; где издавна приготовлен он к последнему часу не увещаниями алтарей, но утешительным голосом чистой совести, где не толстые стены, но громады гор и необозримые степи отделяют его от кровных друзей и родины; где, наконец, он ежеминутно ожидает светлого гения смерти, с которым давно знаком, давно сдружился... Эта жизнь, говорю я, истинная поэзия! — она мне памятна» [8, с. 105].

«Восточная лютня» Шишкова в ранних романтических поэмах «Дагестанская узница» и «Лонской» не ласкала слух читателя, передавая воинственные напевы горцев, описывая их нищую жизнь, где над жилищем дикой свободы витал «дух мщенья, смерти, страха». Внутренний разлад горских общин, авторитарность и строгий диктат обычаев, дух неукротимой воинственности далеки от картины идеально-утопической, внесловной свободы и естественного равенства. Участник кампании, Шишков

не без гордости пишет о русском оружии, положившем предел «необузданному зверству» диких племен, которые подобно хищным волкам, скрываются в своих ущельях и там трепещут от страха при имени генерала Ермолова» [7, с. 30]. Ему самому приходилось совершать «небольшие прогулки в Северный Дагестан для приведения к покорству взбунтовавшихся жителей» [7, с. 53].

Шишков, поэтизируя «храбрых горцев дух великий», «буйную свободу Кавказа дерзостных детей», отмечает их, как ему кажется, неприязненные черты — «злой нрав» и «отчуждение от всех добродетелей» [7, с. 27, 30]. Пристрастное отношение автора к персиянам, лезгинам, чеченцам — племенам, враждебным Грузии, которую он защищал, так передано в его романтических поэмах: «Чеченец зол: его рука / Приучена к убийствам тайным, / Любовь от сердца далека, / Он страшен путникам случайным: / Коварство, месть — его закон; / Чеченцу незнакома жалость; / И гордо презирает он труды / И тяжкую усталость [3, с. 47]. Или: «Черкес, Бештовых житель гор: / Его орлиный страшен взор; / Колчан с пернатыми стрелами / Звучит за мощными плечами, / Ружье, кинжал и лук тугой / Натянут звонкой тетивой, / И черный ус колечком вьется, / И конь под ним, как вихрь, несется; / А там природы бедный сын / Полунагой, но злобный вечно, / И вечно хищный осетин, / Гроза невинности беспечной» [7, с. 40—45].

1830-е гг., когда Шишков пишет исторический роман о Грузии, стали своеобразным итогом тридцатилетней борьбы на Кавказе «русской силы» с «дикой независимостью». В духе времени Шишков разделяет мнение о том, что Россия просветила мрачные ущелья Кавказа, указала путь «отпавшим членам всемирного семейства», а Грузия

стала «благословенной частью империи». Миссия русских на Кавказе представлялась объективно прогрессивной по своим историческим последствиям, что не исключало, естественно, элементов экспансии. Иллюзии в отношении покоренных народов в эти годы не были изжиты, следы «барабанного просвещения» (А. С. Грибоедов) не представлялись столь страшными. Шишков сочувствовал освобождению Грузии от «грубой коры азиатского невежества» [8, с. 59]: «Русские разогнали черные тучи на светлом небе Грузии; русские орлы опустились к ней с вершины Кавказа и осенили ее широкими крыльями» [8, с. 3]. В поэме этот же перифразитичный образ вбирает в себя противоречивый эмоционально-философский подтекст: «Приосенил орел двуглавый / Вершины исполинских гор, / И на вершине меч кровавый / Иссек Кавказу приговор» [7, с. 6].

Идеи просвещенного абсолютизма в культурных преобразованиях на окраинах России получают историко-политическое обоснование в романе Шишкова о Грузии, выразятся в создании по-пушкински противоречивого образа Кавказа, «гнезда разбойничьих племен», где царят воинственный дух и вольница. По признанию комиссии Императорской Академии наук по творческому наследию А. Шишкова во главе с А. С. Пушкиным, примечателен его роман, рисующий нравы и общественное положение Грузии после присоединения к России, «по своему времени, а еще более по достоинству, написанный живым и легким языком». Незаконченный роман о Кавказе был впервые и единственный раз в собранном виде опубликован в собрании сочинений капитана Шишкова, изданном посмертно в 1834–1835 гг. Поэмы и лирика Шишкова цитируемы, изучены в большей степени, чем его проза [4]. Поэт пушкинской поры, Шишков предваряет «лермонтовский элемент»

в поэзии, а насильственной, преждевременной смертью предваряет трагическую судьбу многих (Шишков был зарезан поручиком П. Черновым в Твери, где пребывал в очередной ссылке, в Дворянском собрании во время ссоры, вступившись за честь жены).

Аллегорический образ Грузии — увертюра ко всему роману, ключ к его символическому названию «Кетевана, или Грузия в 1812 году». Черты «грозного», «дикого» Кавказа смягчены в лирическом образе Грузии, в олицетворенном описании ее видны черты «красавицы, роскошно лежащей на цветистом ковре, голова которой покоилась на снежном Кавказе, как на подушке, а у ног благоухали розы Гилани» [8, с. 11]. Легкий налет восточной риторики дополняет впечатление об орнаментальном, аллегорическом стиле романа. О принятии Грузией христианства писатель говорит восторженно: «Грузия познала истинного Бога, облобызала животворящий крест, но, отделенная от единоверных ее христиан гранитною стеною Кавказа, не могла простереть к ней молящих рук, когда дикие племена ее терзали; вопль страдальцы терялся в ущелье гор» [8, с. 11]. В его представлении Грузия, присоединенная к России, наконец освободилась из душной темницы, где долго страдала, а теперь отдыхает под ровным покровом: «уже на лице ее играет прежний румянец; глаза ясны и веселы, но на ногах еще не зажили глубокие язвы, врезанные тяжелыми оковами» [8, с. 60–61].

Название роману дано в духе сложившейся традиции, по которой конкретные даты и место происшествия выносились в заглавие, акцентируя историзм произведения. Познавательная информация для русского читателя заключена в научно-публицистических (не слитых с сюжетом) отступлениях из истории Грузии, в словаре местных

слов (бичо, батоно, арало, ахалух, духан), вынесенном за рамки повествования, в географическо-этнографическом комментарии. Точная деталь, документированный факт проникают в художественный текст: действие происходит в июне 1811 г., три дня путешественники добирались от Крестового перевала до Тифлиса: шум обвала, застигшего их во время пути, слышался в течение полчаса и др.

Изображение событий кахетинского бунта обнаруживает острое социально-политическое звучание темы «русского» Востока. Традиционная проблематика «кавказской» романистики сочетается в романе с погружением в реальный, обыденный, не декоративный быт [6, с. 315]. В оценке кахетинского бунта отразился опыт Шишкова-переводчика исторической европейской драматургии, создателя «Избранного немецкого театра» в 4-х томах (1831), получившего признание за свой труд современников и потомков и названного одним из «лучших словесников, мыслителей времени» [5, с. 585].

Усилия русских «исторгнуть Грузию из мрака невежества» не всегда показаны Шишковым в положительном свете. Русские власти обеспечили личную безопасность, правосудие, дали толчок развитию промышленности и просвещения, но в то же время вызвали национальные конфликты, нетерпимость и непримиримость народов. «Дух народа тогда только самобытен и тверд, — рассуждает автор о противоречивых судьбах свободы и цивилизации, — когда каждый уверен в жизни своей и имуществе, ограждаемых законом и правительством; но мог ли назвать что-нибудь своим грузин, равно подверженный хищничеству внешних врагов и алчному феодализму князей? После продолжительной ночи для Грузии настала зоря, но свет её показался тяжелым для глаз, привыкших к мраку. Старани-

ями русского правительства воздвигались удобные для жизни дома, а грузины тосковали о своих подземных саках. Границы охранялись оружием русских воинов, а грузины вздыхали о том времени, когда набеги соседей давали им повод к мести и средства к грабежу. По деревням пристава соблюдали тишину и спокойствие, а грузины оплакивали прежнюю буйную свободу самоуправления» [8, с. 60–63].

Нависшие над городом «почернелые от времени башни и стены крепости, укоризненно смотрящие на перерождение Тифлиса» [8, с. 50], на стрелы минарета, на угрюмый храм огнепоклонников, — деталь многозначительная в картине романа и существенная для автора, проявляющего жадный интерес к местным обычаям, к рассказам о «былых временах». Ему милы «отличия», «чудесная пестрота для глаз европейца». Он с уважением относится к культуре другого народа, сочувствует грузинам, которые обречены «чужих законов несть ярмо, свободу схоронив в могилу». В романе соединен взгляд на Кавказ как с точки зрения победителей, так и с точки зрения побежденных, сопоставлены разные стороны исторической истины. Нарушение традиций, старинных порядков русским правительством и местной властью болезненно отзывается в простом народе.

У Шишкова народ выступает хранителем устоев святой веры, независимо от времени и форм общественного устройства. В этом заключена, по мнению писателя, его историческая сила и нравственная правота: борьба за власть царевича и князей предопределяет слепую судьбу таких людей, как семья крестьянина Мамуки. В романе названы причины растущего недовольства местного населения, показаны зреющий протест, с одной стороны, и злоупотребления чиновников, с другой стороны. Все то, что

осознавалось, как «несчастное положение, в котором находились взаимные отношения сословий». Поруганные наследственные святыни и нарушение естественного порядка были причинами недовольства грузин: «высшие классы чувствуют уже благодеяния русского правительства... но чернь едва ли на один шаг вперед подалась на стезе общественной образованности» [8, с. 60–61]. «Проницательный взор местных начальников замечал с некоторого времени необыкновенные волнения умов, и чуткий слух его уловил глухой ропот черни, предвестник гибельного взрыва» [8, с. 94]. Мотив нарастания народного гнева повторяется на страницах романа в уже найденной твердой формуле: «чернь, хотя и глухо, но ропщет». Зреет «буря», быть «потехе». Освещение политической обстановки дано автором с разных идеологических позиций. Князья, враждебно настроенные к тому, что русские «вмешиваются в семейные дела, частные ссоры», завели суды и расправы, сожалеют о прежнем произволе, старой феодальной иерархии, о времени, когда власть была выше закона: «Грузия была еще Грузией... цари правили народом по собственному произволу, и все были счастливы. Правда, и тогда роптали недовольные, но где, при каком мудром правлении их нет?» [8, с. 11]. Антагонизм во взаимоотношениях народа и власти высказан, как и в драме Шишкова «Ажедмитрий», как постоянно действующий закон. Даже когда «Грузия благоденствовала», «злые языки» разглашали, будто поездки царя лишают тысячи людей насущного хлеба. «Искатели справедливости, если и доходили до царя, то возвращались ни с чем, кроме того, что принесли» [8, с. 12] — не без иронии описывает автор «буйную стихию самоуправления».

«Главным действующим лицом готовящихся смущений был брат последнего царя царевич Александр, возмущающий на-

род из Персии через подкупленных агентов, и закоснелые в предрассудках приверженцы старины раздували мятеж, ослабляя благодатные меры правительства» [8, с. 62]. Отзвук романтического историзма слышен в циничном замечании Тарханова о народе: «Это глупое стадо овец, которые все попрыгают в огонь, если одна подаст пример» [8, с.127]. Грузинская знать подогревает инстинкты толпы, направляет ее разрушительную силу, понимая, что для «буйной черни всегда и везде каждое нововведение, как бы благотворны ни были его последствия, кажутся святотатственным посягательством на его свободу и завещанный предкам обычай» [8, с. 95]. В драме «Ажедмитрий» также: закон отцов — «властителей оплот», «плотина ярых вод». У Нарезного в романе «Черный год, или Горские князья» высказана сходная мысль: в присутствии всего народа обнаружить себя противником обычаев, занявших место закона, опасно [2]. Выборная власть гребенских казаков («Перечень писем из Грузии») подчинена тем же социальным механизмам: «Атаманы почти всегда старые и, следовательно, более других преданные предрассудкам отцов своих, всегда первым долгом и первой частью постановляли не только не искоренять заблуждений суеверия, но еще более и более укреплять их в народе» [7, с. 48].

Социально-политическая мысль автора, не скованная драматургическими условиями, способна в романе глубже сопоставить разные формы общественного устройства. Цивилизации здесь противопоставлены «лучшие прежние времена», «свободная старина» и естественный закон предков, который равнозначен, по мысли Шишкова, «закоснелости нравов» и является «зеркалом образа правления». Народное самоуправление показано автором в главе «Джамат» (транскрипция понятия — А. А. Шишкова). Это главное собрание старейшин, «заседание лез-

гин, их дума, верховное судилище» [8, с. 116], своего рода сенат, воплощающий идею закона нравственного возмездия, высшей справедливости: «Здесь джамат, здесь самый злой человек не прикоснется до волоса твоего, как святых, если ты не виновен». Преступивших установленный порядок ждет возмездие, представляющее собой кровавое зрелище. Вот как описан джамаат в научно-популярном очерке того времени: «старейшина созывает джюмегат, совещание, куда допускаются все совершеннолетние <...>. Определяется мера наказания виновного: замеченный в воровстве подвергается общему презрению <...> измена, смертоубийство наказываются смертью. По древнему обычаю жертву забивают камнями или метким выстрелом» [1, с. 131–133]. Джамаат для лезгин выше письменных законов. «Они знают один джамат и плюют на головы всем князьям и бекам», — пишет Шишков [8, с. 117]. С другой стороны, по наблюдению автора, джамаат обнаруживает разложение патриархального уклада, развенчивает иллюзии гармоничности «естественного состояния». Эпизод о Джаро-Белоканском джамаате в романе отмечен высоким драматизмом, поражает отточенностью новеллистической формы, мастерством психологического анализа. Без восточной пышности, мелодраматизма, с поразительной простотой и суровой сдержанностью рассказана в нем история легендарной любви восемнадцатилетнего Сафира, сына хаджи, председательствующего на совете, и юной красавицы, жены некоего «лезгина свирепого вида». Их естественные чувства сильнее страха позорной смерти и установленных «суровых законов» нравственности: «Силы нет любовь принести на жертву должности суровой». Романтический мотив «Дагестанской узницы» окрашен в мрачные тона в сцене суда над влюбленными.

Благодаря драматизации действия живым и непосредственным становится изображение народных сцен. В главе «Воздушный бой» также выхвачен характерный эпизод в разыгравшейся народной драме: налет саранчи, опустошающий пшеничные поля, довершает разорение крестьян, доведенных до отчаяния непомерными налогами. Случившееся воспринимается как наказание Божье. Писатель чутко улавливает изменения в настроениях людей, переход от растерянности и горя к гневу.

Основой документальности в романе служит психологическая достоверность авторского восприятия: «Я говорил о них (событиях) с очевидцами и видел сам преступные тому признаки» [8, с. 4]. Он пишет: «Много лет протекло с тех пор, как видел я роскошные берега Куры и Кахетии, и дикие скалы Дагестана, но живо помню еще льды Кавказа и голубое небо Грузии. Мысль о них неразлучна с воспоминаниями о моей молодости, бурной, но все еще близкой сердцу. Много забыл я... но что помню, то и рассказываю» [8, с. 5]. Этой поэтической истории в живом своеобразии и непосредственном восприятии минувшего, перенесенной в сферу психологии личности, индивидуальных переживаний, сопутствует субъективно-оценочная тенденция.

Автор-повествователь прибыл в Грузию в 1818 г., когда свежи были в памяти печальные события 1812 г., посетившего Грузию двумя страшными событиями: чумой и народными волнениями. «Книга моя не столько роман, сколько ряд воспоминаний, мне любезных, — определяет автор специфику повествовательной формы, — она, так сказать, альбом, в котором собрал я картины и ландшафты, нарисовавшиеся в моей памяти. Может быть, недостает ей ни той полноты, ни той занимательности, которых публика вправе требовать от романа» [8, с. 5]. Для вос-

поминаний извинительна несколько символически обобщенная и условная манера письма. Ряд картин, зарисовок, замет сердца отвечают представлению о романе как «живописном альбоме современной наблюдательности».

Новеллистическая структура делает форму романа незамкнутой. Мотив путешествия обуславливает непринужденность введения в сюжетное действие различных эпизодов и случайность зачина (встречи героев на горной тропе). Легендарная история русско-грузинских отношений сплетает в единый узел все содержательные мотивы и сюжетные линии романа. Сюжет романтической кавказской поэмы здесь трансформируется, обрастает историко-этнографическими подробностями, включает элементы мемуаров, путевого очерка, анекдота, устного рассказа и лирического монолога.

В романе есть мотив похищения у грузинского князя Лоришвиля красавицы Нины русским полковником лекарем Варецким, вылечившим «магнетизмом» холодность девочки-жены. Поступок этот осуждается героями как безнравственный: «подурачить такого чудака, каков Лоришвиль, простительно, но для прихоти своей лишать неопытную женщину доброго имени и хладнокровно приготовить ей позднее раскаяние, нет! Это бесчестно» [8, с. 139]. В романе предугаданы некоторые мотивы и черты лермонтовской прозы, позволяющие выявить генетическую связь и социальную детерминированность типов «кавказца», «героя времени», рассказчика-путешественника, хроникёра и очевидца, мотивирующего сюжет.

У Шишкова условный образ Грузии («отчизны роз» и «жилища свободы») принимает предметно-материальные очертания, однако очеркообразные. Тифлис описан фотографически как южный город с узкими улицами,

плоскими крышами домов, смесью европейского и азиатского, образованности с невежеством, вкуса с безвкусицей. Характерны черты первобытной простоты обстановки домов грузинской знати (закоптелые от дыма каминные, слабо освещенные комнаты, низкие широкие нарты, устланные персидскими коврами) или детали в описании городского пейзажа: «Тифлис проснулся. Неопрятный бичо, в рыжей бараньей шапке, с босыми ногами, вышел из решетчатых дверей дома, протирая сонные глаза, отворил деревянные ставни окон, заклеенных бумагой, напитанной маслом, потом по лесенке влез на плоскую крышу и отвалил огромный горшок, который накрывал круглое отверстие, или трубу» [8, с. 8–9]. Подобные зарисовки являются определенным этапом в разработке социально-бытовой характеристики эпохи.

Объединение разнородных по составу принципов художественной выразительности характеризует экспериментальный стиль романа, складывающийся под влиянием романтических и прозаических сюжетных мотивов (эпизоды с описанием налета саранчи или продажей тухлой пшеницы для рекрутских партий). В разговорах солдат слышен голос здравого рассудка, иного мнения: «Разве мало земли у нас, что мы гонимся за этой Грузией? Кажись, на что она нам? По шерсти ей, собаке, и название дано! Православный народ так и грузнет в ней, как в бездонном болоте» [8, с. 99]. В беглых репликах солдат передано сетование на тяжелую службу, их представление о неприятеле: «Видал я их, красноголовых, в схватке: пустой народишко, на первых порах куда как горячи, а после и наутек» [8, с. 99]. В контексте чужеземного бытия по-новому раскрываются возможности художественного самопознания мира российских героев.

Взгляд на жизнь других народов глазами русского человека, наблюдательного путешественника и гуманиста, оценивающего чужую цивилизацию по ее законам, совмещающего разные грани исторической истины, заметно углубил социально-политическое звучание традиционной «кавказской» темы. Роман Шишкова явился прозорливым предупреждением России, вместившей в себя множество народов, о тонкости и остроте национального чувства, актуализируя его проблематику в ретроспективно-проекционном прочтении двухсотлетней истории.

Использованная литература:

1. Молва. 1834. № 9. С. 131–133.
2. *Нарежный В. Т.* Черный год, или Горские князья. М.: Университетская тип., 1829. Т. 1–2.
3. Опыты Александра Шишкова 2-го, 1828 г.: стихотворения. М.: Университетская тип., 1828.
4. *Рягузова Л. Н.* Творчество А. А. Шишкова (проблематика и эстетические воззрения): дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01. М., 1994.
5. Телескоп. 1831, Ч. 6. № 24.
6. *Шадури В. С.* Друг Пушкина А. А. Шишков и его роман о Грузии. Тбилиси: Заря Востока, 1951.
7. *Шишков А. А.* Восточная лютня. М.: Университетская тип., 1824.
8. *Шишков А. А.* Кетевана, или Грузия в 1812 году // Сочинения и переводы капитана А. А. Шишкова: В 4-х т. СПб.: Российская академия, 1834–1835. Т. 3.